



# Иосиф Бродский

1.

**П**исать стало легко, почти как в юности. Последние лет пятнадцать были трудны, поскольку приходилось всё время подбирать пристойные эвфемизмы для очевидных вещей. Всё время был шанс разозлить либо органы, либо потенциальных оппонентов — прежде всего из патриотического лагеря, где обожали доносы и постоянно предлагали властям свою идеологию в качестве основной; когда власть взяла её на вооружение, надо было уже искать обтекаемые формулировки, чтобы не привлечь внимание органов. То клевета, то русофобия, то экстремизм — кто знает, что в следующий раз оскорбит чувства верующих? Но тут запрещено оказалось вообще

всё, а доселе таимые комплексы и секретные желания националистов вышли на поверхность. Я перестал отождествлять себя со страной и отвязался, и стало можно называть явления их подлинными именами. Правда, в лекциях мне и так случалось говорить, что Бродский — поэт ресентимента. Значение этого красивого термина, введённого Ницше в работе «К генеалогии морали» (1887), знали немногие. Теперь, когда это слово стало одним из самых употребительных, за такие слова можно словить ярлык русофоба, но так как его словили, кажется, уже все, — бояться нечего. Да, Бродский — поэт «русского мира» (естественно, в кавычках), и причина его популярности именно в том, что ресентимент — мораль, построенная

на рабстве, — в России так или иначе присущ почти всем. Бродский, как любой значительный поэт, находил слова — причём весьма энергичные и лихо зарифмованные — для чувств, знакомых большинству. Это касается не только стихотворной и, в общем, смехотворной сатиры «На независимость Украины» (1994), но и «Письма генералу Z», и «Памяти Жукова», и «Стихов о зимней кампании 1980 года», да и почти всей любовной лирики нашего автора, преисполненной чувства гиперкомпенсации.

Главное слово русской ментальности — не «Авось», а «Зато». Мы живём хуже всех, зато мы лучшие; ненавидим всех, зато мы самые добрые. Даже в названиях наших романов, где преобладает конструкция «Существительное плюс существительное» вместо соединительного союза «и» слышится противительный, «зато». Отцы — зато дети, преступление — зато наказание, война — зато мир. Гиперкомпенсация — основа мировоззрения Бродского:

*Нет, что ни говори, утрата,  
Завал, непруха  
Из вас творят аристократа —  
Хотя бы духа!*

Собственно, те же самые мысли выражал он за двадцать лет до этого — не на Пьяцца Маттеи, а в деревне Норенской, и почти тем же размером, в полном соответствии с семантическим ореолом метра:

*Не то, чтобы весна,  
но вроде.  
Разброд и кривизна.  
В разброде  
деревни — все подряд  
храмая.  
Лишь полный скуки взгляд —  
прямая.*

Женщина мне неверна, власть враждебна, соотечественники в лучшем случае равнодушны. Но я поэт, а потому —

*Скрипи, моё перо, мой коготок, мой посох.  
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,  
эпоха на колёсах нас не догонит, босых.*

Не то чтобы Бродский был пионером в освоении этой темы: ещё Гораций в «Лебеде» противопоставлял презренной земле свою способность

воспарить. Но именно у Бродского искусство поэзии стало универсальным средством самоутверждения и отмщения, уравновешивающим все земные несправедливости. Более того, само словесное искусство оказалось не самоценно, а противопоставлено смерти, которая пожирает жизнь на всех путях. Мир лежит во зле и лжи, а речь остаётся единственным способом преодоления человеческой трагедии, того тотального поражения, которое ожидает человека в итоге. Это ведёт к логоцентризму, давно ставшему основой русского мировоззрения: что сказано, то как бы уже и сделано.

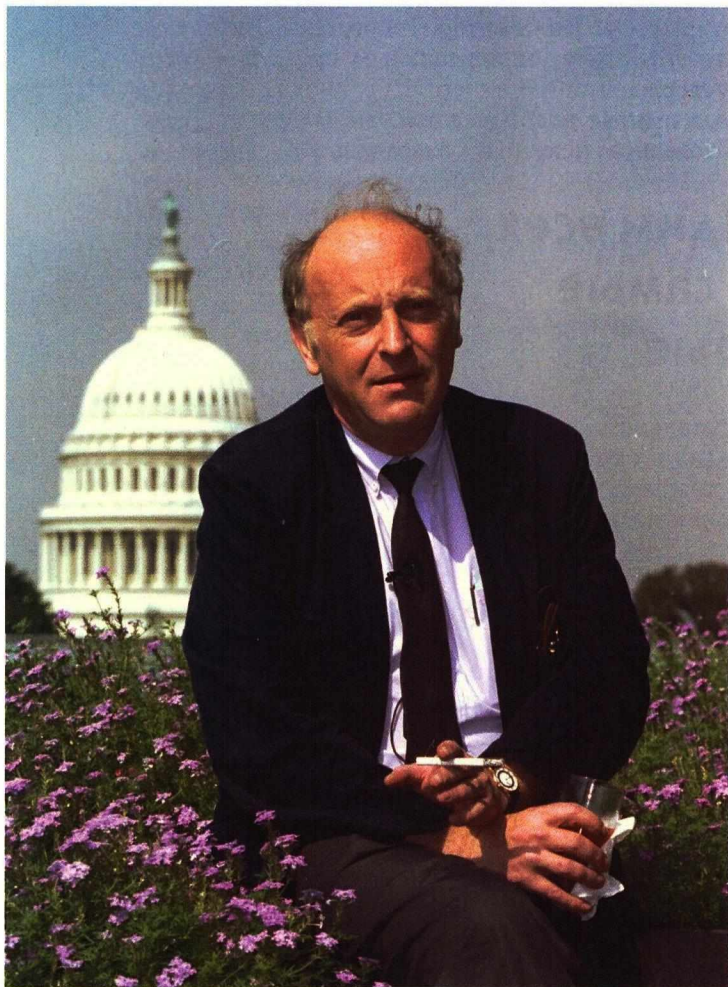
## 2.

Логоцентризм русской культуры — форма гиперкомпенсации: живу плохо, зато как говорю! Александр Асмолов заметил, что модернизм сделал конфликт главным сюжетом истории: классовый конфликт по Марксу, борьба за существование по Дарвину, противоречие эго и суперэго по Фрейдю. Главный конфликт Бродского — не только и не столько столкновение маргинала с массой, сколько внутренний конфликт маргинала, который от этой массы зависит, хочет её победить и по возможности возглавить, а главное — без этой массы немислим, ибо Бог на стороне больших батальонов, и большому поэту для самореализации нужна большая страна.

Этот внутренний конфликт имперского одиночества с имперским величием, маргинальности с всемирной славой, изгойства с эгоцентризмом, презрения с зависимостью — заложен не только в сущности поэзии (которая остаётся по определению явлением концертным, публичным, хотя постоянно ищет уединения и только в нём рождается). Он заложен и в фигуре главного романтика — Наполеона, от которого поначалу в такой восторг пришли Байрон и Бетховен, но оба довольно скоро всё поняли.

Такое же отношение к судьбе Бродского, его личности и манере чрезвычайно напористо самоутверждаться выразил Кушнер в известном стихотворении «Я смотрел на поэта и думал: счастье, что он пишет стихи, а не правит Римом». Наполеону тоже непросто было сочетать презрение к человечеству и формальную заботу о его благоденствии; романтизм вообще плохо сочетается с гуманизмом, но в литературе он неотразимо привлекателен, особенно для подростков. Как всякий поэт риторического склада, Бродский дал современникам и потомкам множество хлестких формул, причём некоторые при всей их соблазнительности откровенно ложны (как знаменитая

# Мы ненавидим всех, зато мы самые добрые



▲ Иосиф Бродский.  
Вашингтон, 1991 год

цитата про ворюгу и кровопийцу; одно другому вовсе не мешает, но как звучит!). Бродский — идеальный поэт для некоторых состояний; иное дело, что сами эти состояния — обида, resentment, ревность, мстительность, разочарование, нервное истощение — не слишком привлекательны. Но поэт выражает то, что вокруг, — а Бродскому досталось выражать эпоху упадка, причём вектор истории отнюдь не поменялся после того, как империя распалась. Процесс её распада продолжается, и более того — он совпал с диверсификацией самого рода человеческого. Была надежда, что разные ветки человечества в процессе этой эволюции научатся быть незаметными друг для друга; вдобавок людям модерна совершенно необязательно уничтожать людей архаики — они умеют их просто не замечать. Но архаика не готова смириться с утратой влияния, она затевает мировые войны, бросая в их топку новые и новые поколения модернистов. Архаика, как вампир, может существовать только за счёт свежей крови — вот почему война была одной из главных тем Бродского, начиная с ранней поэмы «Тысячелетняя война».

Думаю, он сам не до конца мог осмыслить представшее ему видение. Его «Шествие» и «Представление» — монументальные отчёты о последних парадах империи, о мрачном шествии её типажей. К большинству этих типажей и ранний, и поздний Бродский питал естественное отвращение. Но именно эта империя была его питательной средой — и поменяв её на Штаты, он не освободился ни от её влияния, ни от её языка.

Альтернативой Бродскому был, пожалуй, не Кушнер, с которым их по признаку ленинградского происхождения чаще всего сопоставляли, — а Чухонцев, к которому он питал чувства весьма недружественные и запечатлел их в одном опрометчивом интервью. В то время, как Бродский писал «Памяти Жукова», Чухонцев тоже обращался к русской истории — но писал совсем другие стихи: «Повествование о Курбском» со страшными словами «Чем же, как не изменой, воздать за тиранство» стоило ему многолетнего непечатания, а «Чаадаев на Басманной» увидел свет лишь под этим маскировочным названием и после долгого лежания под спудом. Чухонцев умудрялся самой подчёркнуто будничной интонацией своих текстов отрицать имперскую медь; Бродский сделал из этой меди главный свой инструмент. Я понимаю, что любые попытки сопоставлять современников выглядят как сталкивание их лбами («чтобы живых задеть кадиллом», по Баратынскому, а тут получается скорей наоборот и потому ещё уязвимее). Но, во-первых, филология с биографическими обстоятельствами не считается, а во-вторых, время сейчас такое — как-то перестаёшь считаться со всеми видами цензуры, в том числе и с самоцензурой. Говорят, такая свобода бывает либо в ссылке, либо в изгнании, — в любом случае там и тогда, где рушится прежняя система ценностей. А она рушится, и одни стихи спокойно это переживут, а другие придётся переоценивать.

Бродскому ничего не сделается, но статус чемпиона среди поэтов в месте с пирамидальной системой всех ценностей недвусмысленно трещит. Радоваться тут нечему. Или, верней, радоваться можно только одному — что сама анахроническая фигура царя покидает русскую жизнь; что извращённая система ценностей, в которой на первом месте величие и на последнем — милосердие, наконец публично и оглушительно дезавуирована. Это было понятно, а стало — очевидно.

### 3.

Всякому тексту соответствует идеальная форма подачи: для Маяковского это плакат (и в такой же плакатно-рекламной эстетике оформлена в первом издании лучшая его поэма «Про это», которую Родченко проиллюстрировал коллажами с Лилей). Для Окуджавы — магнитофон,

чтобы исполнителя не было видно, чтобы было возможно представить его любимым, и многие, увидев, так сказать, лицо этого голоса, были разочарованы. Фольклору должна быть присуща высшая анонимность — чем легендарней автор, тем лучше. Для текстов Бродского оптимальна именно та форма, в которой он распространялся в России: слепая, третья-четвёртая машинопись, набранная через один интервал почти без полей (он и сам так печатал), что как бы иллюстрировало страшную плотность этих стихов, количество мыслей и ассоциаций на единицу текста. И эта таинственность происхождения — через третьи руки, подпольно, — соответствовала и подпольному, по Достоевскому, типу личности, и двусмысленности авторского статуса (безусловно один из первых, безусловно неофициальный), и размытости географического положения (он так и обозначал — «Ниоткуда с любовью»; любовь, при всей ненависти и мстительности, была несомненна). Именно так, в слепой машинописи, прочёл я впервые в 1982 году «Дебют» — вероятно, самое обаятельное и мерзкое стихотворение в любовной лирике XX века, — и «Школьную антологию», и «Anno Domini», то есть всё лучшее, что он сочинил в России. У него вообще были два лучших периода — один с 1968 до 1975 года, включая «Часть речи», другой в первой половине восьмидесятых.

Да, вот так, вот такой фигурой увенчалась русская литература, последним значительным представителем которой, как теперь ясно, он был. Как показал Леонов в финальном романе, всякая пирамидальная структура сводится в точку, даже если изначально в её основании лежал довольно пространственный квадрат; вырождение — удел всякой вертикали, и весь тот гротеск, который наблюдаем мы сегодня, — всего лишь повторение прежних уровней, поднятых, так сказать, на новую высоту. Немудрено, что в лирике Бродского почти не осталось музыки, сентиментальности, умиления — всего, что так раздражало его в Блоке. В его отношении — не столько к Блоку, сколько ко всей этой поэтической традиции, антириторической, пожалуй, что и безвольной на его фоне, — пренебрежение лишь маскировало глубокую грусть о собственной неполноценности. Как сказал однажды о Блоке Маяковский, непосредственный предшественник Слуцкого и Бродского: «У меня на десять стихотворений пять хороших, а у него два. Но таких, как эти два, мне не написать».

Бродский часто повторял слова Акутагавы: «У меня нет принципов, у меня есть только нервы». Но точнее было бы сказать — «У меня есть

только голос». Бродский высказывает вслух не то, в чём он убеждён, а то, что хорошо звучит, афористично формулируется, — точнее, он в том и убеждён, что хорошо сформулировано. «Письмо генералу Z» с его брехтовски пацифистским пафосом и «Памяти Жукова» — тоже, кстати, Z, если брать европейскую транскрипцию, — написано одной рукой и в одной броской, бродской манере, с равной убедительностью. Впрочем, до деления на риторическую и трансляторскую поэзию, до деления на западников и славянофилов, в божественной цельности Пушкина тоже бывали такие случаи —

одна и та же рука практически в одно и то же время, с разницей в несколько месяцев пишет «Его мы очень смиренным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра», — и «Бородинскую годовщину». Когда Бродский был искренен — когда писал абсолютно антиимперские «Стихи о зимней кампании 1980 года» или когда сочинял насквозь имперские (и вдобавок довольно слабые поэтически) вирши «На независимость Украины»? Да в обоих случаях, просто задача поэта этого склада — находить особо убедительную форму решительно для всех эмоций, общих для его народа. Когда Чаадаев, ознакомившись со стихами «Клеветникам России», написал Пушкину, что тот наконец-то стал национальным поэтом, — это, во-первых, в устах Чаадаева довольно сомнительный комплимент (для него религиозное выше национального, да и русский национальный характер он оценивал без восторга), а во-вторых, национальным поэтом как раз и называется тот, кто наиболее ярко и убедительно выражает национальные настроения. А настроения эти сегодня одни, а завтра другие — и Пушкин это трагическое состояние зависимости поэта от народа выразил в программном стихотворении «Эхо»: «Ты внемлешь грохоту валов, и гласу бури и громов, и крику сельских пастухов — и шлѣшь ответ, тебе ж нет отзыва — таков и ты, поэт!» Бродский называл это в поздние годы зависимостью не от народа, а от языка, но кто является носителем и хранителем языка, его земным воплощением, если угодно? Думать, что язык существует отдельно от народа, — так же наивно, как полагать, что народ живёт где-то отдельно от власти.

Нерв поэзии Бродского как раз в этом внутреннем противоречии (без которого вообще нет поэта): маргинал, принципиальный одиночка, «человек частный, всю жизнь эту частность предпочитающий», — как формулировал он сам в нобелевской речи, — он к народу

## Вырождение — удел всякой вертикали

относился не просто серьёзно, а сакрально; ему такое отношение необходимо, нужней, чем любому политику. Политик может плевать на народ, и правильно делает, потому что не народ является источником его власти (и давно пора завязать с этой иллюзией — в демократиях оно так ещё бывает, но в диктатурах никогда, и нелепо взваливать на народ вину за них). Но вот источником власти поэта, залогом его сакральной роли является именно народ, носитель языка и хранитель наших сочинений; без этого народа у поэта нет ни аудитории, ни отзвука, ни сознания собственного величия. (Справедливо замечание одного историка о том, что Бродский сожалел об отпадении Украины прежде всего потому, что лишался вместе с ней значительной части аудитории.) Отношение Бродского, вроде бы

▼ Иосиф Бродский на церемонии награждения Нобелевской премией по литературе. Стокгольм, 1987 год



последовательного отщепенца и гордого одиночки, к народу — вполне сакрально, до неприличия почтительно; ни у одного шестидесятника, хоть самого ортодоксального, не найдём мы таких фиоритур, как стихотворение Бродского «Народ», чуть было не напечатанное в «Юности». И ему там было бы самое место, но Борис Полевой попросил заменить слово «пьющий» — и Бродский взбунтовался (дело было, конечно, не в слове. Дело было в «Юности», журнале по всем параметрам передовом и притом конформистском; последовательные диссиденты особенно ненавидели всё передовое, то есть притворное, половинчатое, — им милее была откровенная партийная тупость, она хоть ничем не прикидывалась). Стихотворение «Народ», иногда называемое также «Гимн народу», — текст довольно неприличный по интеллигентским меркам, ибо пронизанный культом большинства, масштаба, вообще размерности — что тоже очень присуще русскому характеру, «русскому миру».

*Мой народ, не склонивший своей головы,  
Мой народ, сохранивший повадку травы:  
В смертный час зажимающий зёрна в горсти,  
Сохранивший способность на северном камне  
расти.*

*Мой народ, терпеливый и добрый народ,  
Пьющий, песни орущий, вперёд  
Устремлённый, встающий — огромен и прост —  
Выше звёзд: в человеческий рост!  
Мой народ, возвышающий лучших сынов,  
Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,  
Хоронящий в себе свои муки — и твёрдый в бою,  
Говорящий бесстрашно великую правду свою.  
Мой народ, не просивший даров у небес,  
Мой народ, ни минуты не мыслящий без  
Созиданья, труда,  
говорящий со всеми как друг,  
И чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг.  
Мой народ!  
Да, я счастлив уж тем, что твой сын!  
Никогда на меня не посмотришь ты взглядом  
косым.*

*Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.  
Но услышишь её, если искренней будет она.  
Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость.  
Рот,  
Говорящий неправду, ладонью закроет народ,  
И такого на свете нигде не найти языка,  
Чтобы мог говорящий взглянуть на народ свысока.  
Путь певца — это родиной выбранный путь,  
И куда ни взгляни — можно только к народу  
свернуть,  
Раствориться как капля в бессчётных людских  
голосах.*

*Затеряться листком  
в неумолчных шумящих лесах.*

*Пусть возносит народ —  
а других я не знаю судей,  
Словно высохший куст, —  
самомнение отдельных людей.  
Лишь народ может дать высоту,  
путеводную нить,  
Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.  
Припадаю к народу.  
Припадаю к великой реке.  
Пью великую речь,  
растворяюсь в её языке.  
Припадаю к реке,  
бесконечно текущей вдоль глаз  
Сквозь века, прямо в нас,  
мимо нас, дальше нас.*

Самое неприятное, что есть в этом стихотворении — раннем, нехарактерном для Бродского по форме и весьма несовершенном, но чрезвычайно показательном по сути, — тот лирический самоподзавод, которым более всего грешил Роберт Рождественский, который как раз всё про себя понимал, судя по весьма трезвому юмору нескольких удачных стихотворений. Вот это вот всё: «выше звёзд, в человеческий рост» — это как раз в духе Рождественского, его стихотворения про маленького человека, на которого не хватило мрамора, чтобы вырубить памятник в полный рост. Страшно сказать, у Рождественского ещё и мастеровитее. Плюс к тому особенно неприятно это восходящее к Маяковскому противопоставление народа и единицы — то есть, если угодно, абстракции и конкретики, — с безусловным предпочтением большинства: «а других я не знаю судей». Это обожествление народа — глубоко атеистическое по сути, ибо подменяющее Бога, — как раз и выдаёт в поэзии Бродского её изначальную, в самом фундаменте заложенную ветхозаветность. Она, разумеется, не мешала ему писать прекрасные рождественские стихи — иногда содержащие вполне христианскую сложную эмоцию, а иногда описательные или дежурные, как всякие стихи на случай, — но сам он признавал, что этика Нового Завета кажется ему слишком расчётливой, торгашеской, что ли: «воздаётся по поведению... Ему больше нравилась абсолютная иррациональность логики ветхозаветного Бога, её принципиальная непостижимость. Главным героем Ветхого Завета является народ, главным героем Нового Завета — человек, но человек Бродского скорее раздражает, утомляет: «Даже закрыв

глаза, даже во сне вы видите человека...» Всё человеческое хрупко, подозрительно эгоистично — а Бог не показывается: «В ковчег птенец, не возвращаясь, подтверждает то, что вся вера есть не более, чем почта в один конец». Что остаётся? Вещь. Бродский часто называет себя именно так — «лужица рядом с вещью не обнаружится, даже если вещица при смерти». Или — «Приключилась на твёрдую вещь напасть». Или — о любовнице — «моя шведская вещь» в эссе «Посвящается позвоночнику». Это овеществление — и расчеловечивание — тоже очень характерно для идеологии «русского мира», и Бродский в неё вписался идеально. А какие тут варианты у поэта? Кто пишет по-русски, тот обречён быть голосом русского мира; кто считает себя русским поэтом — то есть существует в большой, изначально порочной системе, где государство является всем, а частное лицо ничем, — рано или поздно начинает эту систему оправдывать, ибо только она является источником его существования. Да, это болото, но на нём растут удивительные цветы и летают удивительные бабочки, которые нигде больше не летают; если это болото осушить, оно перестанет в изобилии производить болотный

## Бродский идеально вписался в идеологию «Русского мира»

газ метан, которым так успешно отапливалась вся Европа; оно гнило, а она отапливалась! Болотная фауна уникальна, болотный пейзаж страшен, но и восхитителен; в болоте нетленными сохраняются органические останки!

Не тащите нас из болота, мы в нём живём. И немудрено, что поэт вроде Бродского, с его риторикой и кругом тем, не мог возникнуть ни в какой другой стране; ему и выпало с последней прямоотой — и последней полнотой — артикулировать все особенности национального характера, с его патетикой и озлобленностью.

### 4.

Любопытна в случае Бродского диалектика русского и советского: ко всему советскому Бродский относился в высшей степени презрительно, не устаивая его даже ненависти, иронизируя над стилистическим родством советского и антисоветского (что вообще было принято в кругу ленинградских авангардистов, не устаивающих быть борцами, снисходительно презирающих обе крайности). Евтушенко был главным врагом Бродского, к нему он относился без всякого уважения и тем более без благородства; советские конкуренты — Аксёнов, Вознесенский — вызывали у него почти неприличную

злобу, зафиксированную в некоторых устных высказываниях и в откровенно пародийных фрагментах вроде прямого антивознесенского выпада в «После нашей эры»:

*В расклеенном на уличных щитах  
«Послании к властителем» известный,  
известный местный кифаред, кипя  
негодваньем, смело выступает  
с призывом Императора убраться  
(на следующей строчке) с медных денег.  
Толпа жестикулирует. Юнцы,  
седые старцы, зрелые мужчины  
и знающие грамоте гетеры  
единогласно утверждают, что  
«такого прежде не было» — при этом  
не уточняя, именно чего  
«такого»: мужества или холуйства.*

Это плохие стихи Вознесенского «Уберите Ленина с денег», чего там, — но и выпад недостойный. Об «Ожого» — бесспорной вершине аксёновской прозы — он отозвался оскорбительно и сделал всё, чтобы книга не вышла на английском. Аксёновское весьма нелюбимое письмо по этому поводу давно обнародовано, и сам Аксёнов в романе «Скажи изюм» вывел Бродского в карикатурном облике Алика Конского: получилось обидно, но похоже. Не стоило бы копаться в эмигрантских дрызгах, но за ними стоит более глубокое противоречие: неприятие Бродским всего советского — и в том числе советской интеллигенции, которая была, как мне представляется, вообще лучшим, что случилось в российской истории; эта советская интеллигенция создала лучшие образцы театра, кинематографа, прозы, да и поэзии, с поправкой на уступки господствующей идеологии. Но для Бродского всё советское компромиссно, мелко, второсортно — хотя идеологией этого советского было просвещение, а пещерный национализм и столь же пещерные суеверия при советской власти знали своё место. При советской власти случались репрессии относительно целых народов, но всенародная поддержка войны была немислима, военная пропаганда официально была запрещена, вооружённый конфликт между славянскими народами проходил по разряду дурного сна; при советской власти немислима была государственная канонизация Ивана Ильина и превознесение самых консервативных, радикально националистических высказываний Тютчева и Достоевского; культ иррационального, характерный для фашизоидных

идеологий, был советской власти априори враждебен — пусть это и приводило к плоскому позитивизму. При советской власти русская партия только мечтала о реванше, о том, чтобы предложить государству свою идеологию, сводящуюся к непрерывному истреблению инородцев (позитива там нет вообще никакого — разве что государственные молебны). После советской власти эта партия в союзе с тайной полицией осуществила свою вековую мечту. Судя по стихотворениям «Памяти Жукова» и «На независимость Украины», Бродский вполне мог освоить и её риторику; стихотворение «Мой народ» сегодня поднято этой партией на знамя, даром что народ — жупел, фикция, придуманная для запугивания отщепенцев. Превращение Бродского в поэта «русского мира», закреплённое гротескной книгой Владимира Бондаренко в серии ЖЗЛ, по большому счёту логично: с Юнной Мориц, тоже этнической еврейкой, произошла та же самая история — русские националисты простили ей инородчество за ежедневные проклятия в адрес всемирных русофобов. А ведь Мориц — большой поэт, хоть и не «бродского» масштаба, и с советской властью у неё были очень плохие отношения. Антисоветское отнюдь не значит антирусское, как пытались нам внушить наивные коммунисты девяностых; советское по сравнению с русским риторически беззубо, ибо жаждет прогресса и мира во всём мире. Русский национализм желает войны, считает её единственно достойным занятием, а всё созидательное отмечает

## Человек слишком живой, а живое так уязвимо!

как второсортное. Только война до последнего человека, только вечный бой, в котором покой и не снится; культ самой архаичной магии, самое языческое преклонение перед властью, перерождение и вырождение церкви — словом, всё, от чего поздний Достоевский в ужасе отшатнулся, изобразив жуткого старца Феропонта, во всём противоположного истинному христианину Зосиме. Бродский потому так глубоко и ненавидел советских знаменитостей — тут виновата не ревность и уж давно не зависть, — что он им противоположен онтологически: их идеалистическое представление о человеке противоположно его глубочайшему презрению ко всему человеческому. Представление Бродского о человеке совпадает, пожалуй, с таким же онтологическим презрением спецслужб к допрашиваемым, что и отображено в аксёновском «Ожого». Человек слишком живой, а живое так уязвимо! То ли дело вещь; и это предпочитание вещи нагляднее всего в поэме с откровенным названием «Натюрморт».

*Кровь моя холодна.  
Холод её лютей  
реки, промёрзшей до дна.  
Я не люблю людей.*

*Внешность их не по мне.  
Лицами их привит  
к жизни какой-то не-  
покидаемый вид.*

*Что-то в их лицах есть,  
что противно уму.  
Что выражает лезть  
неизвестно кому.*

Превратить как можно большее число живых (уязвимых, лживых, несовершенных) в мёртвых — не это ли главная подспудная цель «русского мира» с его непрерывным поиском врага? «Мёртвая старуха совершеннее живой», иронизировал Алексей Хвостенко. Три кита, на которых стоит постсоветская идеология, — культ архаики и смерти, ресентимент, гиперкомпенсация — обозначены Бродским, он выразил эту систему ценностей с образцовой полнотой.

##### 5.

При всём том Бродский — безусловно чрезвычайно значительный поэт, или по крайней мере последний значительный поэт русской цивилизации, воплотивший как её блистательные вершины, так и неизбежное вырождение, сведение в самоубийственную точку. Это само по себе бесценная иллюстрация, и потому бессмертие Бродскому обеспечено — пусть это и не совсем то бессмертие, какое, возможно, мечталось ему. Такое несколько вагнерианское. Но если когда-нибудь и напишут русского «Доктора Фаустуса», это будет жизнеописание либо Ильина, либо Бродского; возможно, он это предвидел, как бы подстилая соломки в поэме «Два часа в резервуаре» — «Я есть антифашист и антифауст». Подозреваю, это скорее попытка заклясть природу собственного дара, насчёт которой у Бродского с самого начала не было иллюзий.

Некоторые стихи и циклы Бродского — «Мексиканский дивертисмент», «Пятая годовщина», «Осенний крик ястреба», «Развивая Платона», «Колыбельная» — принадлежат к русским страницам русской поэзии за все её три века и сохраняют своё место в любой, самой придирчивой антологии, вне зависимости от того, как изменится отношение самой России и её соседей по земному шару к этим трём векам её истории.

Бесспорна заслуга Бродского в том, что он выразил русскую идею в самых обаятельных и самых непривлекательных её формах; в том, что он с непревзойдённой точностью и яркостью



▲ Иосиф Бродский (справа) на похоронах Анны Ахматовой. Ленинград, 1966 год

высказал вслух то, что бродило в подсознании. Благодаря ему это стало видно. Печально лишь, что судьба трагического поэта стала для многих символом жизненного успеха, а интонации его освоены преимущественно пошляками, которые в пятнадцать лет уже презирают человечество. Презирать вообще дело нехитрое. Бродский мало отвечает за таких поклонников, но интерес именно таких поклонников показателен.

Именно в силу этого печального парадокса любое критическое высказывание в адрес Бродского сегодня не только рассматривается как посягательство на ещё одну нашу национальную гордость (помню отповедь покойной Валентины Полухиной мне, грешному, в «Российской газете» — поистине нашлось время и место!), но и как проявление зависти. Бродским можно восхищаться, можно в его адрес негодовать — но завидовать ему невозможно: он завершает собою историю русской поэзии имперского периода. Это значительная, достойная вдумчивого анализа, но чрезвычайно горькая участь.

Живое, сколь бы оно ни было уязвимо, завидовать мёртвому не может. Хотя бы потому, что у живых есть ещё шанс увидеть зарю нового русского века и в меру сил поспособствовать его скорейшему расцвету. Большая радость и почётная миссия — опровергнуть мрачное пророчество о том, что «рода, обречённые на сто лет одиночества, не появляются на земле дважды». ▼